

УДК 1:316.46.058

Лойко А. В.

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина

АПОФАТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АВТОРСТВА: «СИМВОЛИЧЕСКАЯ ВЛАСТЬ» КАК СПОСОБ ИМЕНОВАНИЯ «НЕРЕДУЦИРУЕМОГО ОСТАТКА»

Статья посвящена вопросу о возможности апофатической теории авторства. В перспективе предложенного подхода, «символическая власть» любого теоретического дискурса, направленного на изучение авторства, признается способом номинации «нередуцируемого остатка» исследуемого феномена.

Ключевые слова: авторство, «символическая власть», «нередуцируемый остаток», апофатическая теория, «смерть автора».

Стаття присвячена питанню щодо можливості апофатичної теорії авторства. У перспективі запропонованого підходу, «символічна влада» будь-якого теоретичного дискурсу, який направлений на вивчення авторства, визнається способом номінації «нередукованого залишку» феномену, що вивчається.

Ключові слова: авторство, «символічна влада», «нередукований залишок», апофатична теорія, «смерть автора».

The article deals with the question of the possibility of apophatic theory of authorship. In prospect of the offered approach, the «symbolic authority» of any theoretical discourse, aimed at authorship studying, is considered a naming way of «irreducible remainder» of the phenomenon being studied.

Key words: authorship, «symbolic authority», «irreducible remainder», apophatic theory, the «death of the author».

Как известно, «Логико-философский трактат» Людвиг Витгенштейна заканчивается словами: «О чем невозможно говорить, о том следует молчать» (тезис 7) [4, с. 73]. Но при этом в связи с ней гораздо реже упоминается его же еще более сакраментальная фраза из той же работы: «В самом деле, существует *невысказываемое*. Оно *показывает* себя; это – *мистическое*» (курсив мой. – А. Л.) (тезис 6.522) [4, с. 72]. Как пишет в связи с этим Пол Энгельман: «Целое поколение учеников считали Витгенштейна позитивистом, и у него немало было с ними общего: линия на разделение того, о чем можно говорить, и того, о чем следует молчать, была ими продолжена. *Разница* лишь в том, что последние решительно не имели *того, что стоило умолчания*. <...> Суть позитивизма в установке, что *только проговариваемое обладает ценностью*. Позиция Витгенштейна была противоположной: все самое ценное в человеческой жизни таково, – он искренне в это верил, – что *о нем не следует говорить*» (курсив мой. – А. Л.) [8, с. 134].

Итак, приведенные слова Витгенштейна указывают на *два способа умолчания*: первый, который можно было бы назвать «*позитивистским*», предполагает акцент на «ценности проговариваемого», второй – который, напротив, акцентирует внимание на ценности того, что мы, путем «проговаривания», «очертили» негативным способом как «невысказываемое» – назовем «*апофатическим*». Как нам представляется, *к этим двум подходам можно отнести и различные стратегии репрезентации проблемы авторства*. Например, дискурсы работ Ролана Барта «Смерть автора» и ««Писать» – непереходный глагол?» и Мишеля Фуко «Что такое автор?» могут быть причислены к «неопозитивистскому» подходу, а работы Сергея Аверинцева «Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории» [1] и «Camera lucida» [2] позднего Барта – к «апофатическому», соответственно.

Работа Сергея Аверинцева «Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории» интересна тем, что в ней, по сути, утверждается первичность критики по отношению к авторству: появлению представлению об авторстве предшествует рефлексия о том, каковы критерии, на основании которых одни из произведений становятся известны и пользуются продолжительной популярностью, а другие – остаются, практически, незамеченными. Это явление, которое привело к появлению «риторики» и фигуры Критика или Ценителя, Аверинцев называет «*греческой интеллектуальной революцией*». Налицо парадокс: «риторика», занимаясь выявлением закономерного,

повторяемого, надличного, того, что повторимо и воспроизводим (что Кант, напомним, в «Критике способности суждения» называет «школьной выучкой» [5]) – словом, того, чему можно научить и научиться – приводит к формированию представления об авторстве, как уникальном, неповторимом и не поддающемся артикуляции. Выходит, что хотя предмет исследования и преподавания риторики – «подражаемое», оправданием и причиной ее появления служит авторство как «трансцендентный центр», не поддающийся экспликации и артикуляции – своего рода, «*нередуцируемый остаток*» теории.

Подход французской критики в лице Фуко и Барта чрезвычайно сходен с античной риторикой по методам и столь же чрезвычайно расходится с ней в выводах: выявление безусловных закономерностей поэтического «письма» и авторских дискурсов приводит к выводу о несостоятельности самого разговора об авторстве по причине его «нередуцируемости» к выявленным приемам, механизмам и закономерностям.

Именно поэтому нам кажется, что подходы античной риторики и представителей французского «структурализма» можно сравнить с двумя вышеприведенными следствиями из Витгенштейна – «мистическим» и «неопозитивистским», которые отличаются между собой лишь отношением к «непроговариваемому», «нередуцируемому». *Дискурс «смерти автора»* может быть, в таком случае, рассмотрен не столько как *преодоление* (как считал Деррида), сколько как «*вытеснение*» метафизики. В то время как античная риторика, напротив, выступает дискурсом, который может быть признан «*означающим*» *трансцендентности, нередуцируемости* источника авторства. В «Что такое философия?» [6] Хосе Ортега-и-Гассет сравнивает стратегию философского поиска со стратегией осады иудеями Иерехона, которые брали город не штурмом, а постепенно смыкая вокруг городских стен своим войском круги. Ортега-и-Гассет считает, что это хорошая метафора для иллюстрации противоречивой природы «предмета» философии, который не предзадан самим поиском, а может быть лишь выявлен в них, да и то – скорее, негативным образом: путем ретроспективной обращенности к траектории поиска, как к очередному «следу» присутствия Истины.

В «Соблазне» [3], напомним, Жан Бодрийяр говорит о существовании «*страха быть обольщенным*», который является источником любой систематизации и классификации – упорядочивания как такового. На наш взгляд, попытка уйти от признания авторства в качестве «*нередуцируемого остатка*», что указывало бы на несостоятельность любого метода в попытке «позитивистского» описания этого феномена, также может быть признана «*страхом быть обольщенным*» – в данном случае, «*метафизикой*» – что представляет все многообразие методов и подходов «структурализма» как *механизмы «вытеснения»* метафизического (сродни тому, как аналитическо-позитивистский дискурс классического психоанализа, описывая «анальный характер», сам является прекрасным примером его проявления).

Тем не менее, нельзя забывать об идее «эпистемологического разрыва» или «прерывности» истории и мышления Фуко, которая, по его признанию, не может быть объяснена средствами современного знания, а также о его неоднократных утверждениях, вслед Ницше, о необходимости ввести категорию «случайности» в методологию современных гуманитарных наук – обе эти мысли, как минимум, указывают на, своего рода, латентный «мистицизм» «постструктурализма», который он перенимает, на наш взгляд, опять же, у Ницше, чей дискурс также полон «фигур умолчания», претендуя, благодаря этому, не на принадлежность к определенному роду знания, а на статус «сверх-знания». Но особенно интересна, в связи с отношением «структуралистских» дискурсов к вопросу о «нередуцируемости», последняя работа Ролана Барта «*Camera lucida*».

Пытаясь понять для себя, что представляет собой феномен фотографии, Барт делает попытку предварительной, непрофессиональной классификации, скорее напоминающей компромисс между требованиями, предъявляемыми «властью-знанием» к дискурсам, претендующим на статус «академических» (пусть и в маргинальном регистре), и частным языком частного лица, близким «исповедальному» жанру. В результате, он приходит к выводу, что все фотографии, так или иначе, обладают либо родовыми характеристиками «*studium*» (код культуры), либо «*punctum*» (укол). Первое подразумевает «навык, связанный с «дрессировкой»»; «я участвую, как человек культуры»; «второй элемент, который расстраивает *studium*, я обозначил бы словом *punctum*: *случай*, который на меня нацеливается (но, вместе с тем, делает мне больно, ударяет меня)» [2, с. 44-45]. Далее, продолжая размышления о признаках «*punctum*» Барт пишет: «*То, что я могу назвать, не в силах по-настоящему меня*

уколоть. Неспособность что-то назвать является верным признаком смятения» [2, с. 80]. «Воздействие является острым и приглушенным, оно вопиет в молчании. Противоречие в терминах: медлящая молния» (курсив мой. – А. Л.) [2, с. 83].

Далее Барт признается, что поводом к написанию книги о фотографии послужило следующее событие. После смерти своей матери он попытался найти фото, на котором она была бы запечатлена такой, какой он ее знал. В итоге, не одна из тех фотографий, которые были близки по времени к моменту ее смерти, не смогли его удовлетворить: они всего лишь «напоминали» о ней, но не более. И только лишь на фото, на котором она была запечатлена маленькой девочкой, он «принял» ее, поскольку именно на нем она была запечатлена такой, какой он ее «знал». Именно это фото его матери-девочки в Зимнем Саду послужило поводом к размышлению на тему природы фотографии, и образовало, в итоге, «отсутствующий референт», «трансцендентное означаемое» написанной книги – поскольку оно в ней так и не было представлено, наряду с теми фотографиями, которые послужили иллюстративным материалом книги. «Я не могу показать Фото в Зимнем Саду другим. Оно существует для одного меня <...> в лучшем случае, оно заинтересовало бы ваш *studium*: эпохой, одеждой, фотогеничностью, но для вас в нем не было бы никакой раны» [2, с. 84]. Другими словами – изъятие фото с матерью подобно «фигуре умолчания», способу визуализации умолчания, специфическому приему явить то, что не может быть высказано. Но при этом сама книга о фотографии вызвана к жизни этим молчанием – Барт, по сути, «изобретает» способ того, как именно «умолчать», о том, о чем «невозможно говорить».

Если принять тезис Аристотеля о том, «что всякая наука имеет дело с всеобщим», и довериться выводам Аверинцева, согласно которым античная риторика занята выявлением стилистических универсалий и нормативных правил с целью ответа на вопрос: «Что такое “индивидуальный стиль”?» – можно допустить, что литературная теория, да и, возможно, теория как таковая, рождается всегда как «апофатическая стратегия», которая через выявление «всеобщего», его экспликацию, классификацию и детализацию, делает ни что иное, как очерчивает поле «нередуцируемости» предмета своего исследования – выявляет его, негативным способом, как «нередуцируемый остаток».

В таком случае, любой дискурс представляет собой ни что иное как *специфический способ очерчивания «поля нередуцируемости»* – своего рода *стиль выявления «нередуцируемого остатка»*, который чаще всего принято называть «методом». Переименовая тезис Витгенштейна, любая исследовательская практика очерчивает поле того, «о чем нельзя говорить», предлагая тот способ, каким о том, «о чем нельзя говорить» можно было бы «молчать». В таком случае, «символическая власть» дает о себе знать в *способах именовании «нередуцируемого остатка»*, который предлагает та или иная стратегия или – что то же самое – в попытках все-таки редуцировать предмет исследования к каким-то из его атрибутов, характеристик и признаков, которые будут признаны в качестве принципиальных, указывающих на его природу и выявляющих его «сущность» – что, более или менее явно, обнаруживается в самом *номинации-концепте*, который настолько же выступает «означающим» «нередуцируемого остатка» исследуемого феномена, насколько и призван обозначить те признаки, к которым его решено было «редуцировать» той или иной стратегией (например, со «смертью автора», в таком случае, дело обстоит следующим образом: если Барт «редуцирует» авторство к «письму», то Фуко, предлагая «функцию-автор» в качестве исторически непостоянного способа организации и обращения определенного типа текстов в культуре, все же отказывается сводить к ней авторство – напротив, указывает на то, что авторство не может быть редуцировано ни к одной из «серии операций», образующих «функцию-автор», по причине их исторического непостоянства, т. е., отчасти, возвращается, как нам кажется, к «апофатической логике» античной риторики).

Единственное различие между авторством и критическо-теоретической рефлексией о нем, в таком случае, заключается в том, что *авторское письмо служит практикой развернутой символизации «нередуцируемости» «субъективности»* (раньше сказали бы «души» – что указывает на то, что *сами* понятия «субъективность» и «душа» здесь выступают не более, чем именами «нередуцируемого остатка»), а критическая рефлексия силится выявить эту «нередуцируемость», уже отталкиваясь от результата именованного «нередуцируемости» «субъективности» автором, т. е. занимается, в итоге, «переводом» именованного «нередуцируемости» с языка литературно-художественной практики на язык теории –

занимається *переименованием «нередуцируемого остатка»*. Эта ситуация прекрасно проиллюстрирована в романе Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» в сцене размышления главного героя-поэта о природе любви. Фигурирующая во фрагменте героиня Анна может быть уподоблена, в данном случае, критику-теоретику, а сам рассуждающий герой – автору. «Любовь, в сущности, возникает в одиночестве, когда рядом нет ее объекта, и направлена она не столько на того или ту, кого любишь, сколько на выстроенный умом образ, слабо связанный с оригиналом. Для того чтобы она появилась по-настоящему, нужно обладать умением создавать химеры; целуя меня, Анна скорее целовала того *никогда не существовавшего человека, который стоял за поразившими ее стихами*; откуда ей было знать, что и сам я, когда писал эту книгу, тоже мучительно искал его, с каждым новым стихотворением убеждаясь, что найти его невозможно, потому что его нет нигде. Слова, оставляемые им, были просто подделкой и походили на выбитые рабами в граните следы ступней, которыми жители Вавилона доказывали реальность сошествия на землю какого-то древнего божества. Но, в сущности, разве не именно так божество и сходит на землю?» (курсив мой. – А. Л.) [7, с. 263].

Описанные нами в ранее опубликованных статьях стратегии «мета»- и «пара»-авторства (которые, напомним, заключаются в использовании художественными практиками дискурсивных средств практик теоретических, и теоретическими – художественных), при таком подходе, предстают символическими практиками, как именуемыми «нередуцируемость» субъективности (в силу очевидной выраженности стилистической составляющей этих дискурсов), так и силящимися – тут же – обнаружить, исследовать и описать специфику и механизмы этого авторского именованного «нередуцируемости» субъективности. Иначе говоря, эти стратегии представляют собой *двойственные акты именованного «нередуцируемого остатка»* путем задействования языков теории и практики одновременно и оттого именуемыми «нередуцируемый остаток» сразу художественным и теоретическим способами (в этом, например, на наш взгляд, состоит специфика «деконструкции»). По этой причине, «мета»- и «пара»-авторские стратегии являются, на наш взгляд, *признаком актуализации апофатической логики в современной культуре*, а также ставят вопрос о том, не являются ли многие актуальные дискурсы («смерти автора» и «смерти субъекта» в особенности) не иначе, как современной разновидностью *апофатики*, что указывало бы не на «преодоление метафизики» (как считали Деррида и Фуко), а, напротив – на *новые, технически сложные, апофатические способы проблематизации метафизических вопросов*.

ЛИТЕРАТУРА

1. Аверинцев С. С. Проблема индивидуального стиля в античной и византийской риторической теории // Риторика и истоки европейской литературной традиции / С. С. Аверинцев. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 448 с.
2. Барт Р. Camera lucida / Ролан Барт; [пер. с франц. М. Рыклина] – М.: Ad Marginem, 1997. – 224 с.
3. Бодрийяр Ж. Соблазн / Жан Бодрийяр; [пер. с франц. А. Гараджи] – М.: Ad Marginem, 2000. – 320 с.
4. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Философские работы. Ч. 1 / Людвиг Витгенштейн; [пер. с нем. М. С. Козловой, Ю. А. Асеева]. – М. Гнозис, 1994. – 612 с.
5. Кант И. Критика способности суждения / Иммануил Кант; [пер. с нем. М. Левиной]. – М.: Искусство, 1994. – 367 с.
6. Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? / Ортега-и-Гассет; [пер. с исп. Н. Г. Кротовской и В. С. Кулагиной-Ярцевой]. – М. Наука, 1991. – 408 с.
7. Пелевин В. Чапаев и Пустота / В. Пелевин. – М. Вагриус, 2003. – 416 с.
8. Engelmann P. Letters from Ludwig Wittgenstein / P. Engelmann. – N.Y., 1968.